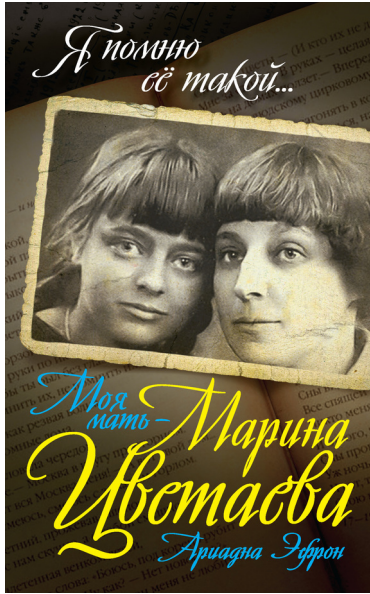




Ариадна Сергеевна Эфрон
Моя мать – Марина Цветаева
Серия «Я помню ее такой...»

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17502186
Моя мать – Марина Цветаева: Алгоритм; М.; 2016
ISBN 978-5-906817-73-0

Аннотация

Дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, Ариадна, талантливая художница, литератор, оставила удивительные воспоминания о своей матери – родном человеке, великой поэтессе, просто женщине, со всеми ее слабостями, пристрастиями, талантом... У них были непростые отношения, трагические судьбы. Пройдя через круги ада эмиграции, нужды, ссылок, лагерей, Ариадна Эфрон успела выполнить свой долг – записать то, что помнит о матери, «высказать сокровенное». Эти мемуары долгие десятилетия открывают нам подлинную Цветаеву.

Содержание

Попытка записей о маме	5
О Марине Цветаевой	26
Какой она была?	26
Как она писала?	30
Ее семья	31
Ее муж. Его семья	35
Из самого раннего	40
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Ариадна Сергеевна Эфрон

Моя мать – Марина Цветаева

© Эфрон А.С., 2016

© ООО «ТД Алгоритм», 2016



У меня плохая память, лишенная стройного порядка, присущего цветаевскому роду. Случаи, события, лица, хранящиеся в ней, не стоят на якоре дат и лишь приблизительно скреплены связующей нитью дней и лет. Вместе с тем помню я так много, что могла бы, если бы умела, написать страницами. Если бы умела. Но есть случаи, когда и неумелый обязан взяться за перо, а любовь и чувство долга обязаны заменить отсутствующий талант. Впрочем, так ли он необходим, когда пытаешься писать именно о таланте? Сумел же Эккерман обойтись без своего, одним гётевским!

Пройдут годы, придут люди, которым будет дано преодолеть преступное равнодушие времени, заставить его вернуть забытое, сказать умолчанное, воскресить убитое и поправное. В помощь этим людям я и пытаюсь записать то, что помню о матери – и о времени.

Попытка записей о маме

Первые мои воспоминания о маме, о ее внешности похожи на рисунки сюрреалистов. Целостности образа нет, потому что глаза еще не умеют охватить его, а разум – собрать воедино все составные части единства.

Все окружающее и все окружающие громоздки, необъятны, непостижимы и непропорциональны мне. У людей огромные башмаки, уходящие в высоту длинные ноги, громадные всемогущие руки.

Лиц не видно – они где-то там наверху, разглядеть их можно, только когда они наклонятся ко мне или кто-то берет меня на руки; тогда только вижу – и пальцем трогаю – большое ухо, большую бровь, большой глаз, который захлопывается при приближении моего пальца, и большой рот, который то целует меня, то говорит «ам» и пытается поймать мою руку; это и смешно, и опасно.

Понятия возраста, пола, красоты, степени родства для меня не существуют, да и собственное мое «я» еще не определилось, «я» – это сплошная зависимость от всех этих глаз, губ и, главное, – рук. Все остальное – туман. Чаще всего этот туман разрывают именно мамины руки – они глядят по голове, кормят с ложки, шлепают, успокаивают, застегивают, укладывают спать, вертят тобой, как хотят. Они – первая реальность и первая действующая, движущая сила в моей жизни. Тонкие в запястьях, смуглые, беспокойные, они лучше всех, потому что полны блеска серебряных перстней и браслетов, блеска, который приходит и уходит вместе с ней и от нее неотделим.

Блестящие руки, блестящие глаза, звонкий, тоже блестящий голос – вот мама самых ранних моих лет. Впервые же я увидела ее и осознала всю целиком, когда она, исчезнув на несколько дней из моей жизни, вернулась из больницы после операции. Больницу и операцию я поняла много времени спустя, а тут просто открылась дверь в детскую, вошла мама, и как-то сразу, молниеносно, все то разрозненное, чем она была для меня до сих пор, слилось воедино. Я увидела ее всю, с ног до головы, и бросилась к ней, захлебываясь от счастья.

Мама была среднего, скорее невысокого, роста, с правильными, четко вырезанными, но не резкими чертами лица. Нос у нее был прямой, с небольшой горбинкой и красивыми, выразительными ноздрями, именно выразительными, особенно хорошо выражавшими и гнев, и презрение. Впрочем, все в ее лице было выразительным и все – лукавым, и губы, и их улыбка, и разлет бровей, и даже ушки, маленькие, почти без мочек, чуткие и настороженные, как у фавна. Глаза ее были того редчайшего, светло-ярко-зеленого, цвета, который называется русалочьим и который не изменился, не потускнел и не выцвел у нее до самой смерти. В овале лица долго сохранялось что-то детское, какая-то очень юная округлость. Светло-русые волосы вились мягко и небрежно – все в ней было без прикрас и в прикрасах не нуждалось. Мама была широка в плечах, узка в бедрах и в талии, подтянута и на всю жизнь сохранила и фигуру, и гибкость подростка. Руки ее были не женственные, а мальчишечьи, небольшие, но отнюдь не миниатюрные, крепкие, твердые в рукопожатье, с хорошо развитыми пальцами, чуть квадратными к концам, с широковатыми, но красивой формы ногтями. Кольца и браслеты составляли неотъемлемую часть этих рук, срослись с ними – так раньше крестьянки сережки носили, вдев их в уши раз и навсегда. Такими – раз и навсегда – были два старинных серебряных браслета, оба литые, выпуклые, один с вкрапленной в него бирюзой, другой гладкий, с вырезанной на нем изумительной летящей птицей, крылья ее простирались от края и до края браслета и обнимали собой все запястье. Три кольца – обручальное, «уцелевшее на скрижалях»¹, гемма в серебряной оправе – вырезанная на агате голова Гермеса в

¹ Строка из стихотворения М. Цветаевой «Писала я на аспидной доске...» (1920). «Ты – уцелеешь на скрижалях» –

крылатом шлеме, и тяжелый, серебряный же, перстень-печатка, с выгравированным на нем трехмачтовым корабликом и, вокруг кораблика, надписью – тебе моя синпатія – очевидно, подарок давно исчезнувшего моряка давно исчезнувшей невесте. На моей памяти надпись почти совсем стерлась, да и кораблик стал еле различим. Были еще кольца, много, они приходили и уходили, но эти три никогда не покидали ее пальцев и ушли только вместе с ней.

относится к имени мужа, обозначенному на внутренней стороне обручального кольца.



Марина Цветаева. Феодосия. 1914 г.

В тот вечер, когда мама воплотилась для меня в единое целое, на ней было широкое, шумное шелковое платье с узким лифом, коричневое, а рука, забинтованная после операции, была на перевязи, и даже перевязь эту я запомнила – темный кашемировый платок с восточным узором.

Самое мое первое воспоминание о ней – да и о себе самой: несколько ступеней – на верхней из них я стою, ведут вниз, в большую, чужую комнату. Все мне кажется смещенным, потому что – полуподвал. Лампочка высоко под потолком, а потолок – низко, раз я стою на лесенке. Не пойму, что ко мне ближе – пол или потолок. Мама там, внизу, под самой лампочкой, то стоит, то медленно поворачивается, слегка расставив руки, и смотрит вовсе не на меня, а себя оглядывает. Возле нее, на коленях, – женщина, что-то на маме трогает, приглаживает, одергивает, и в воздухе носятся, все повторяясь и повторяясь, незнакомые слова «юбка-клеш, юбка-клеш». В углу еще одна женщина, та вовсе без головы, рук у нее тоже нет и вместо ног – черная лакированная подставка, но платье на ней – живое и настоящее. Мне ведено стоять тихо, я и стою тихо, но скоро зареву, потому что на меня никто не обращает внимания, а я ведь маленькая и могу упасть с лестницы. Это, мама говорила, было в Крыму, и пошел мне тогда третий год.

Из того лета не осталось в памяти ни людей, ни вещей, ни комнат, где мы жили. Впервые возник в сознании папа – он был такого высокого роста, что дольше, чем мама, не умещался в поле моего зрения, и первое мое о нем воспоминание про то, как я его не узнала. Мама несет меня на руках, навстречу идет человек в белом, мама спрашивает меня – кто это, а я не узнаю. Только когда он наклоняется надо мной, узнаю и кричу – Сережа, Сережа! (В раннем детстве я родителей называла так, как они называли друг друга, – Сережа, Марина, а еще чаще – Сереженька, Мариночка!)

Еще помнятся мамины шлепки, за то, что я с крутого берега бросила свой новый башмачок прямо в море. Шлепки помню, а море – нет, оно было такое огромное, что я его не замечала.

Следующее лето в Крыму уже заполняется людьми, событиями, оттенками, звуками, запахами. Уже врезается в память белая, нестерпимо белая от солнца стена дома, красные розы, их сильный, почти осязаемый запах и их колючки. Уже различаю море и вижу горизонт, но чувства пространства еще нет: море для меня, когда стою на берегу, – высокая сизая стена. Я – ниже его уровня. – Понимаю, что море хорошо только с берега. Купаться в нем – ужасно.

Когда меня, крепко держа подмышки, окунают в шипящую волну, я заливаюсь слезами и визжу не переводя дыхания. Потом мама вытирает меня мохнатой простыней и стыдит, но мне все равно, главное, что я – на суше. Чтобы приучить меня к купанью, моя крестная, Пра, мать Макса Волошина, бросается в море и плавает – прямо одетая. Когда она выходит на берег, с ее белого татарского халата, расшитого серебром, с шаровар и цветных кожаных сапожков ручьями льет вода. Но мне не смешно и не интересно глядеть на нее. Пра мне помнится очень большой, очень седой, шумной, вернее – громкой.

Временами рядом со мной возникает мой двоюродный брат Андрияша. Он – хороший мальчик, он – не боится купаться, у него чаще, чем у меня, сухие штаны, он хорошо ест манную кашу и даже плотает ее, он «слушается маму». Несмотря на то, что он так хорош, я все же люблю его на свой лад, мне нравится полосатый колпачок с кисточкой у него на голове, мне весело качаться с ним на доске, положенной поперек другой доски. Пусть мы с ним часто деремся, чего-то там не поделив, но я тянусь к нему, потому что чувствую в нем человека одной со мной породы: он так же мал и так же зависим, как я. Его так же, как и меня, куда-то уносят на руках в самый разгар игры, так же неожиданно, как меня, вдруг укладывают спать, или начинают кормить, или шлепают и ставят в угол. Он – мой единоплеменник и единственный настоящий человек в окружающем нас сонме небожителей.

Правда, первое наше знакомство вызвало у меня чувство настоящей ненависти. Это было, видимо, предыдущей зимой в Москве. В моей детской появился маленький белоголовый мальчик, в платьице и в красных башмачках. Это – говорит мама – твой брат Андрюша. «Мой брат Андрюша» неуверенно протягивает мне ручку, но я обе свои прячу за спину и начинаю больно наступать своими черными на его красные башмачки. Давлю изо всех сил, молча, сопя от зависти и гнева. У него – у него, у «брата Андрюши», а не у меня такие красивые красные башмачки! Мне нужно уничтожить их и раздавить, раз они не мои. Андрюша отступает, я наступаю – и все ему на ноги. Андрюша вцепляется мне в волосы, я с наслаждением – ему в лицо. Нас разнимают мамы – моя и его, нас хлопают по рукам, я воплю от досады, от неумения выразить обуревающие меня страсти – у меня еще нет слов, и я не могу объяснить, что красные башмачки должны быть моими или пусть их вовсе не будет!

Именно этим крымским летом выясняется, во-первых, что я труслива – Пра подарила мне ежика, но страх и отвращение мое перед его колючками сильнее умиления перед тем, что он, не в пример мне, умеет пить молоко из блюдечка. Все гладят ежа – и мама, и Пра, Андрюша даже вперед забегает, – а я не могу заставить себя протянуть руку – к этому сгустку колючек, сам воздух вокруг них, кажется мне, колется!

Во-вторых, выясняется, что я совсем не умею есть. Я способна только жевать, жевать до бесконечности, но проглотить эту жвачку не в состоянии и старательно выплевываю ее. С борьбы с этими моими двумя первыми недостатками и начинается мама свою «воспитательную работу» – и на долгие годы. Она борется с моей трусостью увещеваниями, наказаньями, а с водобоязнью – просто купаньем – но обе мы стойки и не сдаем позиций.

– Ты боялась погладить ежика? Бог тебя наказал – теперь ежик сдох, понимаешь? умер, ну, уснул и никогда не проснется. Нет, разбудить его нельзя. Теперь ты и хотела бы его погладить, а уж поздно. Бедный, бедный ежик! – А все потому, что ты – трусиха!

Я горько плачу, долго, долго помню – да и по сей день не забыла, как ежик, подаренный мне Пра, сдох, умер, уснул навсегда из-за того, что я побоялась погладить его. Но все же не уверена, что заставила бы себя к нему прикоснуться, даже если бы наказавший меня Бог воскресил его тогда, снизойдя к моему горю.

А ела я в детстве действительно ужасно. Жевала, рассеянно глаза по сторонам или боязливо вперясь в маму, уже рассерженную, жевала, цепenea от сознания, что все это нужно проглотить – и не глотала. Жевала до последнего предела – а потом выплевывала. Плевалась, зная, что кара неизбежна, шла на нее с ослиным упрямством и христианским смирением.

Плевалась до того, что мама раздевала меня догола, вешала мне на шею салфетку с вышитой красными нитками кошачьей головой и надписью «Bon appetit» – подарок маминей сестры Аси – и, сама надев фартук, садилась напротив моего высокого стульчика с тарелкой манной каши и ложкой в руках. В кормлении моем принимали участие многие, каждый говорил, что в жизни не видывал такого случая, но тем не менее советы давали все. Пра, которую мама уважала и слушалась, советовала не кормить меня вовсе, пока я сама, проголодавшись, не попрошу есть. Мама согласилась. Лето было жаркое, я все пила молоко – три дня только молоко пила, а есть так и не попросила, так и не проголодавшись. На четвертый день мама сказала, что не согласна быть свидетелем гибели собственного ребенка, и вновь я сидела голая с салфеткой под подбородком и не могла проглотить ничего, кроме собственных слез.

(Много, много лет спустя, двадцатитрехлетней девушкой вернувшись в Советский Союз, я работала в жургазовской редакции журнала «Ревю де Москву». Телефонный звонок. «Ариадну Сергеевну, пожалуйста!» – «Это я». – «С вами говорит Елена Усиевич². Вы помните меня?» – «Нет». – «Да, правда. Вы тогда были совсем маленькая... Как вы живете, как устроились?» – «Хорошо, спасибо!» – «А как едите?» – «Да я, собственно, достаточно

² Елена Усиевич, литературный критик.

зарабатываю, чтобы нормально питаться», – отвечаю я, озадаченная такой заботливостью. – «Ах, я вовсе не про то, – перебивает меня Усиевич, – едите как? Глотаете? Вы ведь в детстве совсем не глотали... Я до сих пор не могу забыть, как вы сидели голышом, с головки до ног перемазанная кашей, которой вас кормила М<арина> И<вановна>! И вот теперь узнала, что вы приехали, и решила вам позвонить, узнать...»)

Дом, в котором проходили мамины молодые и мои детские годы, уцелел и поныне. Это – двухэтажный с улицы и трехэтажный со двора старый дом номер 6 по Борисоглебскому переулку, недалеко от Арбата, от бывшей Поварской и бывшей Собачьей площадки. Тогда напротив дома росли два дерева – мама посвятила им стихи «Два дерева хотят друг к другу» – теперь осталось одно, осиротевшее. В квартиру № 5 этого дома мы переехали из Замоскворечья, где я родилась. Квартира была настоящая старинная московская, неудобная, путаная, нескладная, полуторазэтажная и очень уютная. Две двери из передней вели – левая в какую-то ничью комнату, с которой у меня не связано никаких ранних воспоминаний, правая – в большую темную проходную столовую. Днем она скудно и странно освещалась большим окном-фонарем в потолке. Зимой фонарь этот постепенно заваливало снегом, дворник лазил на крышу и выгребал его. В столовой был большой круглый стол – прямо под фонарем; камин, на котором стояли два лисьих чучела, о которых еще речь впереди, бронзовый верблюд-часы и бюст Пушкина. У одной из стен – длинный, неудобный, черный – клеенчатый или кожаный, с высокой спинкой – диван и темный большой буфет с посудой.

Вторая дверь из столовой узким и темным коридором вела в маленькую мамину комнату и в мою большую детскую. В детской, самой светлой комнате в квартире, – три окна. Окна эти в памяти моей остались огромными, с пола до потолка, такими блестящими от чистоты, света, мелькавшего за ними снега! Недавно, войдя во двор нашего бывшего дома, убедилась в том, что на самом деле это – три подслеповатых и – тусклых оконца. Такие они маленькие и такие незрячие, что не удалось им победить, затмить в моей памяти тех, созданных детским восприятием и дополненных детским воображением!

Налево от двери стояла черная чугунная печка-колонка, отапливавшаяся углем, за ней большой и высокий, до потолка, книжный шкаф, в котором стояли детские книги моей бабушки, М. А. Мейн, мамины и мои. В самом нижнем отделении шкафа жили мои игрушки, их я могла доставать сама, а книги мне всегда доставала и давала мама. К шкафу примыкала изножьем моя кровать с сеткой, а изголовьем – к сундуку очередной няни. Ни больших столов, ни взрослых стульев в этой комнате не помню – однако, они должны были быть. Помню мягкий диван между крайним окном и дверью. Помню картины в круглых рамах – копии Греза, одна из них – девушка с птичкой. Над моей кроватью был печальный мальчик в бархатной рамке. Какие-то из этих картин – а может быть, и все они – были работы бабушки Марии Александровны. Детская была просторна, ничем не загромождена.

Выйдя из детской все в тот же узкий темный коридорчик, проводя рукой по левой его стене, можно было нащупать дверь в мамину комнату. Это была единственная на моей памяти настоящая мамина комната – не навязанный судьбой угол, не кратковременное убежище, за которое скоро нечем будет платить и которое придется сменить на другое, почти такое же, только рангом ниже и этажом выше...

Комната была небольшая, продолговатая, неправильной формы в виде буквы «Г», темноватая, т. к. окно было прорезано почти в углу короткой ее стороны – мешала смежная стена детской. Почти весь свет этого окна поглощался большим письменным столом. Справа на столе, вдоль короткой стенки закоулка, в котором помещался стол, стояли рядом книги, лежали тетради, бумаги. Среди безделушек (впрочем, «безделушки» самое неподходящее для маминого письменного стола слово! То были не безделушки, а вещи с душой и историей, далеко не случайные и не всегда красивые) – среди вещей, за которыми я, маленькая, жадно и бесполезно тянулась, была высокая, круглая, черного лака коробочка с перьями и каранда-

шами, называвшаяся «Тучков-четвертый»³, потому что на ней был прелестный миниатюрный портрет этого двадцатидвухлетнего генерала, героя 1812 г. – в алом мундире и сером плаще через плечо. Очень соблазнительным было пресс-папье бабушки Марии Александровны – две маленьких металлических руки, выглядывавших из кружевных манжет, скрывавших пружину, две темных руки, цепко сжимавших пачку писем. Боязнь и любопытство вызывала странная черная фигурка Богоматери, когда-то привезенная дедом Иваном Владимировичем Цв<етаевым> из Италии. Это была средневековая Мадонна с лобастым личиком и широким разрезом невидящих глаз, величиной с ладонь, тяжелая, то ли чугунная, то ли железная. В животе фигурки открывалась двустворчатая дверка – Богоматерь оказывалась внутри полая и вся утыканная острыми шипами. – В средние века, – рассказывала мама, – в Италии была такая статуя – выше человеческого роста. В нее запирали еретиков – закрывали дверцу, и шипы пронзали их насквозь. Средние века, Италия и еретики были для меня понятиями весьма туманными, но, глядя на шипы и трогая их пальцем, я всей душой восставала против средневековой Италии и такой Божьей Матери – за еретиков!

Между столом и дверью находилось углубление, вроде ниши, задерживавшееся синей занавеской. На одной из полок лежала, завернутая в шелковый платок, белая гипсовая маска, снятая с папиного умершего от туберкулеза брата Пети. Прекрасное спящее это лицо, такое измученное и такое спокойное, похожее на папино, всегда вызывало у меня нежность и жалость. Я часто просила маму «показать мне Петю» и целовала сомкнутые, грустные, прохладные губы и закрытые большие-большие прохладные глаза.



Борисоглебский переулок, 6. Теперь здесь Дом-музей Марины Цветаевой.

³ «Тучков-четвертый» – Александр Алексеевич Тучков, генерал-майор, погибший в Бородинском сражении.



Дочери Марины Цветаевой – Ариадна и Ирина. «Старшую у тьмы выхватывая – младшей не уберегла...»

«Он тебя знал, – говорила мама, – а ты его не помнишь. Он тебя любил. У него была маленькая дочка, которая умерла. У него была жена-танцовщица, которая его не любила...»

Дочка, которая умерла? Танцовщица, которая не любила? Как это все непонятно! Как можно умирать? Как можно не любить?

На полках было много всяких интересных вещей – морские звезды, раковины, панцирь черепахи – и стереоскоп и множество двойных фотографий к нему – Крым, мама, папа. Макс, Пра, мы с Андрюшей, еще всякие знакомые и просто виды. В стереоскопе все выглядело настоящим, совсем живым, хоть и неподвижным.

Стена по правую сторону двери была свободна, возле нее ничего не стояло, кроме старого вольтеровского кресла, к ней можно было подходить вплотную и водить пальцем по розам светлых обоев. Можно было погладить висевшую на ней красиво выделанную серо-голубую шкурку, подбитую красным сукном и отороченную суконными же зубчиками. Это – шкурка маминого любимого кота Кусаки, которого она привезла крохотным котенком из Крыма, везла 3 суток, за пазухой блузки-матроски. Кусак был умный, все понимал, как собака, и даже лучше. Он был настолько умен, что даже понимал назначение моего ночного горшочка и лучше, чем я сама, – с превеликим трудом и старанием пользовался им, цепляясь всеми четырьмя лапами за скользкие эмалированные его края. Вороватая кухарка, которую мама уволила, в отместку отравила Кусаку. Издыхающий Кусак, весь в пене, с всклокоченной, потускневшей шерстью, приполз через всю квартиру к маме – прощаться – и так и умер у нее на руках. Мама плакала навзрыд, я тоже голосила, а потом мы сели на извозчика и повезли дохлого Кусаку к скорняку. Тот предложил увековечить кота «как живого» – чтобы он вроде как бы крался за птичкой по ветке вроде как бы настоящего дерева! Несмотря на то, что птичку скорняк предлагал совершенно даром, в виде премии, мама не согласилась уродовать нашего Кусаку – и вот он превратился в эту самую шкурку, висющую на стене.

(Помню, еще до всякого кухаркиного вмешательства Кусака как-то раз заболел – ветеринар выписал рецепт, который мама долго хранила как образец непрофессионального стихотворства. Рецепт кошачьей микстуры гласил:

«Каждый час по чайной ложке Кошке – Госпожи Эфрон».)

Еще на стене висели небольшие, цветные, очень мне нравившиеся репродукция Врубеля – помню «Пана», «Царевну-Лебедь».

На противоположной стене был большой папин портрет, написанный приятельницей моих родителей, художницей Магдой (спросить у Лили фамилию) во время папиной болезни. Папа полулежал в кресле, с книгой в руке, ноги его были закутаны пледом. Фон портрета был ярко-оранжевым, то ли занавес, то ли условный закат...

Висел портрет над широкой и низкой тахтой, покрытой куском восточного в лило-вато-зеленую расплывчатую полосу шелка, такого, из которого в Узбекистане и до сих пор шьют халаты. С потолка спускалась синяя хрустальная люстра с тихо звеневшими длинными гранеными подвесками, очень старинная и красивая. На полу, прямо под люстрой, лежала волчья шкура, казавшаяся мне по ее и моей величине медвежьей. Приятно было совать кулачок в разинутую волчью пасть и знать, что волк тебя не укусит, хоть клыки у него и настоящие!

От изголовья тахты до стены с Кусачьей шкуркой все пространство занимал огромный старинный секретер, из которого мама иногда доставала музыкальную шкатулку, довольно тяжелую, темного дерева с инкрустациями. Она играла несколько грустных, медленных пьесок, отчетливо выговаривая мелодию. Крутились медные валики с шипами, задевавшими за зубья металлического гребешка, весь механизм добывания музыки из валиков и нотных картонок с прорезями был очевиден, но шкатулка оставалась таинственной и волшебной. Помимо музыкальной шкатулки у мамы была еще и настоящая старая шарманка, купленная у настоящего старого шарманщика. И мама, и папа, и их молодые гости с увлечением крутили ручку шарманки, игравшей с хрипом и неожиданными синкопами «Разлуку».

Для того чтобы попасть на второй этаж квартиры, нужно было проделать весь путь обратно, через темный коридор в столовую, оттуда в переднюю, и, попав в другой коридор, подняться по довольно высокой и крутой лесенке. Лесенка оканчивалась площадкой, хорошо освещенной окном; на нее выходили двери большой кухни, куда мне, маленькой, ход был запрещен, ванной, чулана и уборной. Еще один, последний, коридорчик вел мимо маленькой комнаты (где всего только и умещалось, что кровать с ничем не покрытым матрасом, стол, стул и бельевого шкаф) в папину большую и не очень светлую, т. к. часть ее тоже кончалась каким-то закоулком; папину комнату я помню не очень отчетливо, т. к. в ней я бывала редко – из детской легко можно было забраться к маме или в столовую, а тут нужно было преодолевать лестницу, миновать запретную кухню, и вообще это было целое путешествие, на которое я отваживалась только после специального приглашения.

В папиной комнате была тахта у левой от двери стены, справа, у окна, стол письменный, в глубине – круглый, буфет, в котором жило печенье «Альберт» и «Мария» и еще какао в жестянке с голландской девочкой – неразрывно связанное в моей памяти с О. Э. Мандельштамом – но об этом позже!

Когда я бывала в гостях у папы, меня сажали за круглый стол, «угощали» печеньем, и оттого, что оно, такое знакомое и невкусное в детской, было «угощеньем», я с удовольствием и даже торжественностью ела его. Здесь как-то на Пасху подарили мне настоящую игрушечную Троице-Сергиеву лавру – целый ящик розовых домиков и церквушек – одноглавых и многоглавых – до этого у меня были только кубики, и, помнится, я была совершенно потрясена этим игрушечным городком, который можно было видоизменять по своему желанию. Лавра эта была у меня до самого отъезда за границу, когда мама меня уговорила подарить ее маленькому Саше Когану, потому что решила, что Саша – сын Блока (Блок, как говорили,

был увлечен женой Петра Семеновича)... Я, очень легко дарившая игрушки, легко подарившая и эту и вообще ничуть не жадная, долго потом жалела свою «Лавру» и вспоминала о ней. К тому же Саша оказался всего-навсего сыном своего законного отца...

По нашей Борисоглебской квартире долго еще будет плутать моя память, цепляясь, как шипы валика музыкальной шкатулки, за многое, происходившее в тех комнатах, но с маленькой комнаткой, расположенной рядом с папиной, у меня связано только три ранних воспоминания, о которых и расскажу сейчас, чтобы больше в нее не возвращаться. Мы с моей тетей, папиной сестрой Верой, почему-то сидим на полосатом матрасе нежилой кровати и разговариваем. Вера спрашивает: «Ты меня любишь?» – «Ужасно люблю», – отвечаю я. «Ужасно люблю – не говорят, – поправляет меня Вера, – ужасно – значит очень плохо, а очень плохо – не любят. Надо сказать – очень люблю!» – «Ужасно люблю», – упрямо повторяю я. «Очень!» – говорит Вера. «Ужжжасно люблю», – уже со злобой повторяю я. Входит мама. Бросаюсь к ней: «Мариночка, Вера сказала, что ужасно любить нельзя, что ужасно люблю – не говорят, что можно только – очень люблю!» Мама берет меня на руки. «Можно, Алечка, ужасно любить – ужасно любить – лучше и больше, чем просто любить или любить очень!» – говорит мама и раздувает ноздри – значит, сердится на Веру.

Почему я так запомнила этот полосатый матрас? Потому что однажды нашла на нем настоящую конфетку! Никого, кроме меня и матраса, в тот миг в комнате не было, значит, в чуде повинен матрас, значит, на каждом матрасе бывают конфеты! И не раз я, к удивлению няни, перекапывала свою постельку в детской и сердилась, ничего не найдя! Найденная конфета была моей тайной, о ней я даже маме не сказала, и, может быть, именно поэтому другой конфеты никогда не находила.

Третье воспоминание – за столом в маленькой комнатке сидит молоденькая, румяная, приветливая женщина, которую зовут «домашней портнихой». На ручной машинке она подрубает простыни и рассказывает маме, как она, девочкой, заснула и не могла проснуться, слышала, как приходил доктор и сказал, что она умерла, чувствовала, как ее положили в гроб, слышала и плач матери, и заупокойную службу, а проснуться все не могла. «Летаргический сон! – говорит мама. – Ведь вас же могли заживо похоронить!» Я цепенею от ужаса – похоронить – значит закопать в землю! Закопать в землю живую спящую домашнюю портниху! – «А что было дальше?» – с трепетом спрашиваю я. Мама вспоминает обо мне: «Эта сказка не для тебя!» – и уводит меня из комнаты. «Мариночка, ее заживо похоронили?» – «Да нет же, она проснулась и, видишь, сидит и шьет...» – «Мариночка, а куда гроб девали?» – «Не знаю, – говорит мама. – Наверное, подарили кому-нибудь». Я успокаиваюсь. Что такое гроб и похороны, я хорошо знаю, одна из моих, недолго у нас заживавшихся, нянь, та самая, у которой «сын на позициях», из-за чего она почему-то иногда плачет, часто тайком вместо прогулки водит меня в церковь – на похороны и заставляет прикладываться к чужим покойникам. Это, в общем, интереснее прогулки, т. к. Собачья площадка всегда одна и та же, а покойники – разные. К тому же они для меня нечто вроде церковной утвари, такая же непонятная и, видимо, необходимая для церкви принадлежность! Мне всегда очень хочется рассказать об этом маме, поделиться удовольствием, но детская память коротка, на обратном пути я все забываю. Тот единственный раз, что не забыла, оказался для няни роковым – мама немедленно рассталась с ней...

Сколько комнат было в нашей квартире – столько и миров, и разделявшие их границы легко и по собственной воле перешагивали только взрослые. От меня эти миры были ограждены многочисленными «нельзя», и первым из этих запретов был запрет вторгаться в жизнь старших. Но даже тогда, когда меня в нее допускали, «нельзя» продолжали преследовать меня – и только меня одну. Бывали дни, когда меня сажали за общий стол; взрослые – а их немало собиралось за нашим круглым столом – разговаривали, спорили, смеялись – движения их были свободны и голоса громки; на тарелках взрослых была какая-то другая, особен-

ная еда. Они чокались красивым вином в красивых бокалах. А я должна была есть ненавистный шпинат или гречневую кашу, голубую от молока, причем есть «помогая себе корочкой», а не пальцами. Мне нельзя было «перебивать старших» и вмешиваться в их разговор, болтать ногами или опускать руку под стол, чтобы погладить дежурившего там пуделя Джека, а участие мое в застольной беседе обычно сводилось к словам «спасибо» и «пожалуйста». Такое положение вещей ничуть меня не тяготило, и, несмотря на то, что в детской я обретала полную свободу грубить няне, бегать, вопить и озорничать, свобода эта меня не привлекала: слишком пленительна была жизнь взрослых, и, чтобы прикоснуться к ней, я готова была вся, целиком, с головой влезть в китайскую туфельку «хорошего поведения».

«Хорошим поведением» ведала мама, и нельзя было даже помышлять о том, чтобы девочка, которая себя плохо вела, осмелилась проникнуть в ее комнату.

Мамина комната была праздником моего детства, и этот праздник нужно было заслужить. Он начинался, как только я переступала порог: для меня заводилась музыкальная шкатулка, мне давали покрутить ручку шарманки, мне позволяли поиграть с черепашьям панцирем, поваляться на волчьей шкуре и заглянуть в стереоскоп. Папа брал меня на колени и рассказывал такие сказки, каких никто больше не знал. Особенно я любила сказку про разбойников, но ее почему-то папа никогда не рассказывал в мамином присутствии. Сказка была такая: «Вот как-то раз девочка Аля осталась дома совсем одна... Папа ушел, и мама ушла, и няня ушла, и Джек ушел... Узнали про это разбойники. Вот вошли разбойники в дом. Вот они идут по лестнице. Вот они открыли дверь – смотрят: а где тут девочка Аля? Вот они вошли в переднюю – пошли сперва на кухню, а из кухни в ванную, а в руках у них ножи... («Булатные?» – дрожа, спрашиваю я. «Булатные», – эпическим тоном подтверждает папа.) ...ищут они девочку Алю... Вот они вошли в папину комнату... смотрят под диваном – нет девочки Али! Смотрят в буфете – нет девочки Али! Смотрят в шкафу – нет девочки Али! Тогда выходят они из папиной комнаты... («Нет! нет! – в ужасе кричу я, т. к. мне необходимо во что бы то ни стало подольше задержать разбойников на верхнем этаже. – Еще не выходят! Они еще под роялем не смотрели!»)... Смотрят под роялем – нет там девочки Али! Тогда они идут в столовую... («Нет, нет, не в столовую! Они еще в уборной не были!») – Ах да, – невозмутимо продолжает папа. – Смотрят они в уборной – нет там девочки Али...»



Еще на стене висели небольшие, цветные, очень мне нравившиеся репродукции Врубеля – помню «Пана», «Царевну-Лебедь»

Мучительное путешествие разбойников продолжалось долго. С каждым шагом, неотвратимо, приближались они к детской, где пряталась девочка Аля. Напряжение и страх все

нарастали – но папу это ничуть не волновало. Он не боялся, его-то ведь дома не было и не его искали разбойники!..» Вот они идут по коридору... все ближе-ближе... вот разбойник берется за ручку двери... вот – он – открывает – дверь...» Не выдержав, я визжу, и папа, сам почему-то оглядываясь на дверь, успокоительной, бодрой скороговоркой подводит сказку к счастливому, хоть и кровопролитному концу: «Но в это время как раз вернулся домой папа»... («И убил всех разбойников!» – в восторге завершаю я.) – «И убил всех разбойников», – подтверждает он. Какое счастье, какое освобождение! Я – спасена!

За исключением этой, все папины сказки были добрые и уютные. И сам папа был такой добрый и такой «лучше всех», что я решила выйти замуж только за него, когда вырасту.

На одной из полок с мамиными сокровищами лежали три бабушкины детские книги – г очевидно, самые любимые ею или по каким-то иным признакам самые ценные, т. к. мама их хранила у себя, отдельно от тех, которые находились в книжном шкафу, стоявшем в детской. Это были «Сказки Перро», и «Священная история» с иллюстрациями Гюстава Доре, и однотомник Гоголя, все три большого формата и в тяжелых переплетах. Еще не умея читать – я уже умела – на всю жизнь! – обращаться с книгами, ибо «нельзя» маминого воспитания в первую очередь относились к ним. Нельзя было брать за книгу, не вымыв предварительно руки, нельзя было перелистывать страницы, берясь за нижний угол, – только за верхний правый! и уж, конечно, нельзя было слюнявить пальцы, и заворачивать углы, и, самое для меня трудное, – ни в коем случае ничего не добавлять к иллюстрациям!

Сказки Перро, упрощая их, рассказывала мне мама, а показывал Доре. До сих пор вижу, как бредет Мальчик-Пальчик в темном лесу среди деревьев с неохватными стволами и кудрявыми вершинами, вижу спящих с коронами на голове дочерей людоеда, пир в замке принца Хохлика, куда-то далеко едущую при свете месяца красавицу Ослиную Кожу.

Впрочем – рассказывали не только мне – рассказывать должна была и я сама – уметь передать своими словами услышанную сказку или объяснить то, что было изображено на картинках. Очень привлекали меня иллюстрации к Гоголю – по несколько подробных, мелких картинок на одной странице. О смысле и содержании их я должна была догадываться сама – Гоголя мне еще не рассказывали, он был недоступен моим 3–4 годам. «А это что? а это кто? а что он делает?» – спрашивает мама, я же, подыскивая сходство с чем-нибудь уже мне знакомым, отвечаю. Так, картинке, на которой были изображены Хома Брут, читающий над панночкой, сама панночка, бесы и летающая над ними крышка гроба, я дала следующее прозаическое толкование: «А это барышня просит у кухарки жареных обезьян». (Барышня – панночка, кухарка – Хома, крышка гроба – плита, бесы – жареные обезьяны.)

Один раз елку устроили в маминой комнате, и тогда, именно в тот раз, я впервые почувствовала, что радость где-то граничит с печалью; так хорошо, что почти грустно – почему? Та елочка была не такая уж большая – хоть и до потолка, но стояла не на полу, а на низеньком столике, покрытом голубым с серебряными звездами покрывалом; на серебряные звезды тихо капал разноцветный воск. Над каждой витой свечой дрожало и чуть колебалось золотое сердечко огня. И вся елка в сиянии своем казалась увеличенным язычком пламени невидимой свечи. Запах хвои и мандариновой шкурки; тепло, свет, множась и отражающийся в глазах взрослых. Было много глаз в тот сочельник, много гостей, но из глаз мне запомнились все те же самые любимые: – ярко-зеленые мамы, огромные серые папы; – а из гостей помню одну Пра и из всех подарков – привезенную ею из Крыма самодельную шкатулочку из мелких ракушек.

То была не первая елка, оставшаяся в памяти. Первая была... первая еще не граничила с грустью! Дверь в детскую, куда меня в тот день не пускали, вдруг открылась, и предо мною предстала огромная пирамида блеска, света, сверкающих мелочей, связанных в единое целое переливающимся серебром нитей и гирлянд. – «Что это?» – спросила я. «Елка!» – сказала Марина. «Где елка?» – спросила я, за всем этим блеском не разглядев дерева. И так

и окаменела на пороге. Мама за руку подвела меня к елке, сняла с нее шоколадный шар в станиолевой обертке и подала мне – но елка от этого не стала мне ближе, и шоколаду не хотелось. Я была ошеломлена и даже подавлена. – «Пойди к гостям, поздоровайся», – сказала мама, и только тут, осмотревшись, я увидела, что вдоль стен на стульях сидели гости – много, и все взрослые, и все знакомые. Я покорно пошла здороваться с каждым за ручку, и каждого угощала своей шоколадкой, и все почему-то смеялись, глядя на меня.

Все это было непонятно, и я не могла сбросить с себя оцепенения, вызванного непривычным. И вдруг все изменилось, чудо стало реальностью, обрело смысл, получив свое подтверждение в еще одном чуде. Дверь открылась, и в нее, со словами «опоздал, опоздал!», вошел веселый, необычайно милый старик с длинной седой бородой. Папа и мама поспешили к нему навстречу, поспешила, вдруг расколдованная, и я. Старик взял меня на руки, весело расцеловал, борода у него была мягкая, от нее еще веяло уличным холодом. «Здравствуй, здравствуй, – сказал он мне, – а ты меня помнишь?» – «Помню, – твердо сказала я, – Вы – Дед Мороз!» И опять все засмеялись, а громче всех – «Дед».

Это был пришедший к нам в гости старый друг нашей семьи – друг еще бабушки моей Елизаветы Петровны Дурново, П. С. Кропоткин.

Что было на следующий день? Что бывает на следующий после праздника день? Не помню – стоит в памяти одинокая елка – без вчера и без завтра, и держит меня на руках веселый Дед Мороз, и стоят возле нас и смеются веселые, счастливые папа и мама, Сережа и Марина... И все. Сидим в столовой, обедаем за круглым нашим столом, собственно, только начинаем обедать – только что подали суп. Вдруг треск, короткий грохот, за ним дребезг, разверзается небо, и на стол, на самую его середину, падает наш черный пудель Джек. Все, как по команде, вскакивают, а Джек, разбрасывая лапами приборы и куски хлеба, в звоне битой посуды и катящихся по полу салфеточных колец, спрыгивает со стола и с поджатым хвостом убегает в детскую. За ним тянется след вермишели и бульона. Секунда всеобщего молчания, потом говор, хохот, смятение...

Где-то на чердаке Джек нашел лазейку, через которую выбрался на крышу, и, бегая там, угодил в потолочное окно нашей столовой. Рама подалась под его тяжестью, и Джек рухнул прямо на стол, к счастью, ничего себе не повредив и перебив сравнительно немного посуды.

Мама рассказывала, что я выучилась ходить, держась за хвост Джека, – он терпеливо водил меня за собой по всей детской. Джек был угольно черный, конечно, стриженный по пуделиной моде, умница и добряк. Загубила его все та же крыша – как-то он опять залез на нее, заметили его мальчишки, стали дразнить. Джек бросился на них прямо с крыши и разбился.

Я болею. Я лежу в кровати среди бела дня, и мне не разрешено вставать. Мама привела в детскую рыжего с проседью доктора Ярхо, который еще ее лечил, когда она была маленькая. Это ничуть не мешает мне вопить не своим голосом, когда он выслушивает меня и стучит по моей спине холодными пальцами. У меня воспаление легких. Это очень хорошо – папа и мама все время играют со мной, меряют мне температуру и рассказывают сказки.

Вечером, когда они думают, что я заснула, они уходят. Но я не сплю, это няня спит, я только на минутку закрыла глаза.

Из запечного сумрака вылезает медведь. Он там живет. Он подходит к моей кровати и начинает меня катать лапами, как кухарка – тесто. Я кричу – но напрасно... Няня спит, и в детской – все по-прежнему, все вещи на своих местах, горит лампа в углу, няня спит, – а меня катает медведь. Но вот скрипнула дверь, медведь мгновенно скрывается за печкой. – «Что ты? что с тобой? – спрашивает мама. – Что тебе приснилось?»

Какое там приснилось! Я вся в поту и долго не могу из валика, в который меня скатал медведь, опять превратиться в девочку.

Вообще-то я – тихий и хорошо воспитанный ребенок, но иногда – кажется, довольно редко, на меня находит злоба и буйство, я что-то требую, о чем-то спорю, топаю ногами. – «Э, – говорит папа, – да это к тебе Каприз пришел! Сейчас мы его выгоним!» Он достает из моего кричащего рта «Каприз» – такой маленький, что я не могу даже рассмотреть его, разжимает пальцы, дует на них, и Каприз улетает под потолок или в открытую форточку. Я успокаиваюсь и рада, что от него избавилась. А мама не всегда помнит, что виноват Каприз, и иногда вместо него почему-то наказывает меня – ставит в угол, и тогда Каприз еще долго бушует во мне, пока я о нем сама как-то не забуду.

У мамы есть знакомая, Соня Парнок – она тоже пишет стихи, и мы с мамой иногда ходим к ней в гости. Мама читает стихи Соне, та ей свои, а я сижу на стуле и жду, когда мне покажут обезьянку. Потому что у Сони Парнок есть настоящая живая обезьянка, которая сидит в другой комнате на цепочке. Обезьянка – темно-коричневая, почти черная, у нее четыре руки с настоящими ладонями. Личико у нее подвижное, почти человеческое, и в этом «почти» – самое привлекательное и страшное. Соня говорит, что обезьянка очень умная – однажды забыли спрятать ключ от замка, на который запирается цепочка, мартышка схватила его, открыла замок, освободилась от цепочки, поймала кошку, которую ненавидела за то, что та не сидела на привязи, и маникюрными ножницами остригла ей все когти, а потом выкупала ее в помойном ведре. Этими же ножницами обезьянка проколола глаза на всех портретах, висевших в комнате, – может быть, для того, чтобы они не видели расправы с кошкой? Но почему все это называется «умная обезьяна»?

Я – первый раз в цирке. Нехорошо пахнет и очень много народа. Сажу притихшая и не свожу глаз с лож – ложки висят в воздухе – как люди влезают туда, и, главное, как они вылезают? Неужели – прыгают? Ведь нигде – никаких лестниц. Боже, как хорошо, что мы сидим совсем в другом месте, а ведь могли попасть и туда, как те несчастные, и как бы мы дальше жили, папа, мама и я? Ведь уйти-то нельзя? Перед моим носом что-то происходит, какие-то лошади бегают, какие-то люди кувыркаются, но все это – на земле, я за них не беспокоюсь – вот те, что в ложах, что с ними будет? Где они будут спать и что есть? Как им помочь? Я пытаюсь посоветоваться с папой и с мамой, но, оказывается, здесь вдобавок и разговаривать нельзя... Только однажды сочувственное мое внимание отвлекается от лож – когда молодые люди в темных тужурках с блестящими пуговицами выводят на арену каких-то зверей. Я сейчас же узнаю и тех и других: «Студенты со львами! – кричу я в восторге, – студенты на львах катаются!» Львов я очень хорошо знаю по картинкам в книжках, и мне ли не узнать студентов, если и мой папа и его товарищи ходят в таких же тужурках с такими же пуговицами!

«Аля, ешь курицу!» – «Я не могу, Мариночка!» – «Аля, ешь курицу!» – «Мариночка, она противная!» – «Это не она противная, а ты противная. Жуешь, жуешь... глотай сейчас же!» – «Я не могу, Мариночка!» – «Не можешь? Слушай, что я тебе скажу. Если ты сейчас же, вот сию же минуту, не проглотишь, у тебя вырастет куриная голова! Слышишь?» – «Слышу, Мариночка!»

Но кто-то отзывает маму, я быстро выплевываю куриную жвачку в кулак и отдаю кошке, которая давно ходит вокруг моего стула и со стуком трется о него головой. Мама возвращается. – «Ну что, проглотила?» – «Проглотила, Мариночка! – Честное слово!» – «Ну смотри! а то вырастет куриная голова...»

Я мрачно возвращаюсь в детскую и щупаю свою голову. Кажется, начинается. Ну конечно, уж затылок какой-то не такой. Интересно, какая вырастает, вареная или сырая? Куриная-то голова, в общем, ничего, если дома сидеть. Ведь дома все будут знать, что это я. Может быть, даже любить будут. И вдруг – обжигающая стыдом мысль: а как же, если я поеду на извозчике?!

На несколько дней в детскую поместили большое зеркало. «Пусть пока постоит у Али», – сказала Марина. Из зеркала на меня смотрит другая девочка, и эта девочка – я сама. Но так не бывает. Когда рядом с той, другой, в зеркале появляется моя Марина, в этом нет ничего удивительного. Марину я всегда вижу со стороны, снаружи, а я – это я, и чувствую себя изнутри. Чувствовать себя изнутри и в то же время видеть со стороны – нельзя. Словом, я была одна, а потом «меня» стало две, и это – раздражает. Где живу другая я? В зеркале жить нельзя, оно гладкое, а для жизни нужен простор, пространство. За зеркалом никого нет. Может быть, между зеркалом и задней его, шершавой, неполированной стенкой? Нет, я слишком большая девочка. Что это, что это и зачем? Вторая я не дает мне покоя, притягивает меня. Она угадывает мои намерения, она предвосхищает мои действия. Только собираюсь показать ей язык, а она его высунула. Только собираюсь поразить ее затейливой гримасой, а она уже корчит такую рожу, что мне и не придумать.



Мария Александровна Мейн, мать Марины Цветаевой



Иван Владимирович Цветаев с дочерью Мариной. 1906 г.

И все же тайна разгадана, и помогла в этом Марина. Дело в том, что и она, и Сережа всегда и безошибочно узнают, когда я говорю правду, а когда неправду. Стоит мне соврать, как Марина смотрит мне в лицо и говорит: «А ведь у тебя на лбу написано, что ты неправду сказала». Сережа тоже читает то, что у меня написано на лбу, и мне остается только рассказать, как все произошло на самом деле. Именно это качество моего лба и позволило разоблачить девочку в зеркале. В следующий же раз, как меня, при помощи все той же надписи, признали виновной в очередном вранье, я бросилась к зеркалу. Вторая я уже была там. Пристально, хмурясь, как Марина, я стала рассматривать лицо девочки. Лобик ее был совершенно чист, без единой буквы, без единой каракули – просто удивительно чист. Итак, в зеркале была не я, а совсем чужая! У меня-то ведь надпись на лбу – Марина и Сережа только что читали, а у этой – ничего! Не я, не я, не я! Только платье такое же! Убедившись в этом и поторжествовав вокруг зеркала, я успокоилась. Мало ли чужих девочек на свете, и что мне до них! К тому же зеркало вскоре унесли из детской, а вместе с ним и обманщицу с чистым лобиком.

От няnek и только от них вся беда со штанами. Марина всегда знает, когда нужно их на мне расстегнуть. Даже если она разговаривает со взрослыми и совсем забывает обо мне, тихо играющей в уголке, Марина вдруг срывается с места, молниеносно отстегивает на мне три задних петельки от пуговиц лифчика и раздельным шепотом говорит на ухо: «Сейчас же – марш – на горшок!»

С няньками же не так. Няньки совсем не знают, когда мне нужно, а я тем более, потому что заигрываюсь и забываю. Мне часто бывает просто некогда вспомнить о штанах. Особенно на прогулке. Чаще всего это случается на Собачьей площадке, где няня, сунув мне в руки ведро и совочек, спешит к другим няням и кормилицам. Иногда я играю одна, иногда с другими девочками, но так или иначе – всегда увлеченно. Бывает, что вспоминаю о необходимости уединиться только тогда, когда необходимость эта уже миновала. Но случается, что успеваю добежать до няни и, приплясывая, жду, пока она распутает и расстегнет меня. Няня же не торопится. Она увлечена рассказом великолепной кормилицы в таком ярком наряде и с такими бусами, что каждой «девочке из порядочной семьи» – а я именно такая и есть –

хочется поскорее вырасти большой, чтобы тоже стать такой кормилицей. Кормилица говорит о чем-то для няни очень интересном, о взрослом, в рассказе ее то и дело слышно: «а барин», «а барыня». Няня рассеянно блуждает пальцами под моим пальтецом и платьем, нащупывая петли и пуговицы, но – уже поздно. Домой я возвращаюсь подавленная предстоящим неизбежным разоблачением и наказанием. – «Няня, не говори Марине», – прошу я, чувствуя собственную низость. «А к чему говорить, – равнодушно отвечает няня, щелкая кедровые орешки, которыми ее угостила кормилица, – она и сама узнает».

Когда наконец открывается дверь в нашу квартиру, я уже с порога отчаянно кричу: «Сухбха, сухбха!» – «Ах, сухбха?!» – отзывается Марина издали, и голос ее не сулит ничего доброго. Вот она подходит, вот она стремительно наклоняется надо мной и, не обращаясь к пламенеющим на моем лбу письмам, всегда зная все заранее, выдает мне надлежащую порцию шлепков. И это еще не все. Потом я сижу в столовой у камина, зимой ли, летом ли, все равно, и держу в руках уже выполосканные и отжатые няней штаны. И каждый, кто проходит мимо, лицемерно-участливым голосом спрашивает: «Это ты, Алечка? А что ты тут делаешь?» – «Штаны шушэ», – всхлипывая, отвечаю я.

То, что я действительно «ребенок из порядочной семьи», совсем недавно, все на той же Собачьей площадке и все по тому же поводу, подтвердил один господин, судя по его виду, тоже из порядочной семьи. Он сидел на скамейке совсем один, далеко от нянек и детей, и читал «Русские ведомости». На лице у него блестели и пенсне, и седая борода клинышком. А на ногах были тоже блестящие «штиблеты» – черные штиблеты с резиночками и с ушками. Я очень хорошо разглядела их, потому что, ища уединения, нашла его у самых ног господина и с интересом наблюдала, как мой ручеек подбирается к его штиблетам. Заметил ручеек и господин. Он вскочил, с треском сложил газету, прошипел «а еще ребенок из порядочной семьи» и удалился. Спина у него была прямая и почему-то негодующая.

Марина подарила мне чашку с Наполеоном, чтобы мне было интереснее пить молоко. Из обыкновенной чашки оно очень плохо пьется. Эта чашка – вся золотая внутри, и чем больше выпиваешь молока, тем больше появляется золота. Снаружи она ярко-синяя, а Наполеон нарисован в белом кружочке – у него прямой нос, черные волосы, он смотрит вдаль. Он герой, он полководец, он император. И фокусничать, когда пьешь из такой чашки, – стыдно.

Няня поставила Наполеона на печку, чтобы немного подогреть молоко. Она так делала каждый день, и молоко, и чашка обычно чуть теплые. А на этот раз Наполеон перегрелся, я обожглась, выпустила чашку из рук и она разбилась на мелкие осколки.

В ужасе и горе, заливаясь слезами, я кинулась к Марине: «Мариночка, я разбила Наполеона! Мариночка, я разбила Наполеона!» Марина не рассердилась, она взяла меня на руки, утешала, говорила, что я не виновата. «Виновата! – кричала я, не унимаясь, – виновата! Я разбила Наполеона!»

Тогда Марина достала из шкафчика другую, ярко-синюю снаружи и золотую внутри, чашку. На ней в белом кружочке была нарисована красивая женщина с голыми руками и плечами, на которые спускались завитки черных волос. «Видишь, это императрица Жозефина, жена Наполеона. Он ее очень любил. И я тебе подарю эту чашку – взамен той – когда ты немножко подрастешь!» Но мне становится еще более жалко разбитого Наполеона. Оказывается, у него была жена! Жена императрица! Которой я разбила мужа...⁴

Сережа может очень хорошо нарисовать все, что захочешь, все, что ни попросишь. Особенно ему удаются львы. Про львов он рассказывает сказки – самые мои любимые, и тут же рисует их на бумаге. Еще он умеет «показывать льва» – делает лицо, как у настоящего льва, и этого папу-льва я люблю еще больше, чем просто папу. Марина же умеет «показывать

⁴ В других воспоминаниях А. Эфрон эта история излагается иначе.

рысь». У меня же ничего не получается, когда я тоже хочу показать льва и рысь, мне говорят «не гримасничай».

Папа и мама иногда называют друг друга шутя «лев» и «рысь».

Когда мы с Мариной ходим гулять, то всегда подаем нищим. Нищих очень много – это старые, сгорбленные, бедные, больные люди. Некоторые говорят «подайте Христа ради», другие молчат, но мы подаем всем. Обычно нищие сидят на скамейке или прямо на земле и держат перед собою шапку, в которую надо класть копеечки. У некоторых нищих бывает очень много копеек в шапке, эти, видно, богатые, а есть и такие, у которых шапка совсем пустая. Марина очень близорука, и поэтому я всегда показываю ей:

«Мариночка, вон нищий сидит!» Марина дает мне монетку, и я бегу опустить ее в шапку нищего. Вот и на этот раз – Марина еще ничего не видит, а я уже обнаружила нищего, сидящего на лавочке с фуражкой в руках. Бегу к нему с зажатой в кулаке копеечкой, опускаю ее в фуражку – этот нищий очень бедный, на дне его фуражки ни грошика. Зато одет он очень красиво, штаны у него с лампасами и фуражка с околышем. И борода у него красивая, расчесанная на две стороны. Но зато он неблагодарный и невежливый – вместо того, чтобы сказать «Спаси тебя Господь, деточка», он вскакивает и начинает так кричать на меня и на подошедшую Марину, что мы обе пугаемся. Марина достает лорнет и смотрит на нищего, а тот топает ногами, обутыми в блестящие штиблеты, и выкрикивает глупые слова: «издевательство! насмешка!». Марина складывает лорнет, хватая меня за руку, и мы убегаем за угол. – «Он сумасшедший, Мариночка?» – спрашиваю я в испуге. «Это ты сумасшедшая, – отвечает Марина, сердясь и смеясь. – Подать копейку генералу! генералу, сидящему на собственной лавочке возле собственного особняка! Как ты могла принять его за нищего?» – «Но ведь он старик, Мариночка!» Раз старик – значит нищий. Разве непонятно?

Я никак не могу научиться, во-первых, спускаться с лестницы, как взрослые, – мне непременно нужно ставить обе ноги на каждую ступеньку, и, во-вторых, отличать правую руку от левой, правую сторону от левой. В правой и левой сторонах нет ничего достоверного, ничего раз и навсегда, к чему можно было бы привыкнуть.

Такие прочные и незыблемые вещи, как, скажем, церкви и дома, по непонятным для меня причинам оказываются то справа, то слева, не сходя притом с места. Стоит мне, маленькой девочке, повернуться, как весь мир перемещается, здания и деревья, собаки и люди словно перебегают за моей спиной с одного тротуара на другой. Марина говорит, что все очень просто, что правая сторона всегда там, где моя правая рука. Но которая же из рук – правая? Та, которой я крещусь. Крещусь я одинаково и той, и другой. По одной из них иногда шлепают, говоря, что это – не та, но я забываю, по которой. Обе руки у меня совсем одинаковые, обе умеют держать и ложку, и карандаш. Ноги у меня тоже одинаковые, но башмаки для них – разные. Когда я обуваюсь сама, мне говорят: «не на ту ногу». Я переобуваюсь, и опять оказывается «не на ту ногу». Какая же нога – та? Какая же рука – та! Какая сторона – та!

Пока я ничего не знала про правое и левое, все было хорошо и ясно. Теперь все перепуталось и усложнилось, и в этой путанице не на что опереться, чтобы не ошибаться. Вот пришел гость – чаще всего это Володечка Алексеев, который всегда мне приносит подарки. Он, здороваясь, протягивает мне руку. Ага, вот, значит, с какой стороны у него правая рука! С этой же стороны должна быть и моя. Протягиваю свою – и, конечно, моя оказывается левой. Но почему же, почему? Марина, потеряв надежду объяснить мне, в чем тут дело, говорит папе: «Вот увидите, Сереженька, она так же, как и я, будет абсолютно неспособна к точным наукам!»

Наши с Мариной прогулки в храм Христа Спасителя всегда для меня отравлены лестницей. Подниматься по ней легко и весело, но ведь я заранее знаю, что с этих же ступенек придется спускаться, а я не умею спускаться с лестницы как все люди, как все дети, и Марина будет опять учить меня и сердиться. Так оно и есть. Уже позади огромные, гулкие,

торжественные, раззолоченные глубины и высоты храма, такого большого, что внутри него стоит часовня, большая, как целая церковь. Уже позади стоящие вблизи от алтаря, обитые красным бархатом кресла, отгороженные от людей золотым шнуром. Это – царские кресла, на них сам царь сидит, на любом, на котором только захочет, во время службы.

Все приятное и красивое позади – впереди же бесконечная, вниз уходящая серая лестница, по которой я должна спускаться, как все люди.

О Марине Цветаевой ***Воспоминания дочери***

Какой она была?

Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом – 163 см, с фигурой египетского мальчика – широкоплеча, узкобедра, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью; сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легки и стремительны – без резкости – движения. Она смирала и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают.

Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованны.

Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным столом, она хранила «стальную выправку хребта».

Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, рано начали сесть – и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом – смугло-бледным, матовым; светлы и немеркнувши были глаза – зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневыми веками.

Черты лица и контуры его были точны и четки; никакой расплывчатости, ничего недодуманного мастером, не пройденного резцом, не отшлифованного: нос, тонкий у переносицы, переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укороченно, гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные ноздри, казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией.



В Коктебеле.

Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель – юности...

Две вертикальные бороздки разделяли русые брови. Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода.

Но мало кто умел читать в нем.

Руки были крепкие, деятельные, трудовые. Два серебряных перстня (перстень-печатка с изображением кораблика, агатовая гемма с Гермесом в гладкой оправе, подарок ее отца) и обручальное кольцо – никогда не снимавшиеся, не привлекали к рукам внимания, не украшали и не связывали их, а естественно составляли с ними единое целое.

Голос был девически высок, звонок, гибок. Речь – сжата, реплики – формулы.

Умела слушать; никогда не подавляла собеседника, но в споре была опасна: на диспутах, дискуссиях и обсуждениях, не выходя из пределов леденящей учтивости, молниеносным выпадом сражала оппонента.

Была блестящим рассказчиком.

Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию.

Читала темпераментно, смыслово, без поэтических «подвываний», никогда не опуская (упуская!) концы строк; самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении.

Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?»

Всю жизнь была велика – и не удовлетворена – ее потребность в читателях, слушателях, в быстром и непосредственном отклике на написанное.

К начинающим поэтам была добра и безмерно терпелива, лишь бы ощущала в них – или воображала! – «искру божью» дара; в каждом таком чувала собрата, преемника – о, не своего! – самой Поэзии! – но ничтожества распознавала и беспощадно развенчивала, как находившихся в зачаточном состоянии, так и достигших мнимых вершин.

Была действительно добра и щедра: спешила помочь, выручить, спасти – хотя бы подставить плечо; делилась последним, наинасущнейшим, ибо лишним не обладала.

Умея давать, умела и брать, не чинясь; долго верила в «круговую поруку добра», в великую, неистребимую человеческую взаимопомощь.

Беспомощна не была никогда, но всегда – беззащитна. Снисходительная к чужим, с близких – друзей, детей – требовала как с самой себя: непомерно.

Не отвергала моду, как считали некоторые поверхностные ее современники, но, не имея материальной возможности ни создавать ее, ни следовать ей, брезгливо избегала нищих под нее подделок и в годы эмиграции с достоинством носила одежду с чужого плеча.

В вещах превыше всего ценила прочность, испытанную временем: не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимого, одним словом – «изящного».

Поздно ложилась, перед сном читала. Вставала рано. Была спартански скромна в привычках, умеренна в еде. Курила: в России – папиросы, которые сама набивала, за границей – крепкие, мужские сигареты, по полсигареты в простом, вишневом мундштуке.

Пила черный кофе: светлые его зерна жарила до коричневости, терпеливо молола в старинной турецкой мельнице, медной, в виде круглого столбика, покрытого восточной вязью.

С природой была связана воистину кровными узами, любила ее – горы, скалы, лес – языческой обожествляющей и вместе с тем преодолевающей ее любовью, без примеси созерцательности, поэтому с морем, которого не одолеть ни пешком, ни вплавь, не знала что делать. Просто любоваться им не умела.

Низменный, равнинный пейзаж удручал ее, так же, как сырые, болотистые, камышовые места, так же, как влажные месяцы года, когда почва становится недостоверной под ногой пешехода, а горизонт расплывчат.

Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель – юности, их она искала постоянно и изредка находила в холмистости бывших «королевских охотничьих угодий» Медонского леса, в гористости, красках и запахах Средиземноморского побережья.

Легко переносила жару, трудно – холод.

Была равнодушна к срезанным цветам, к букетам, ко всему, распускающемуся в вазах или в горшках на подоконниках; цветам же, растущим в садах, предпочитала, за их мускулистость и долговечность, – плющ, вереск, дикий виноград, кустарники.

Ценила умное вмешательство человека в природу, его сотворчество с ней: парки, плотины, дороги.

С неизменной нежностью, верностью и пониманием (даже почтением!) относилась к собакам и кошкам, они ей платили взаимностью.

В прогулках чаще всего преследовала цель: дойти до..., взобраться на...; радовалась более, чем купленному, «добыче»: собранным грибам, ягодам и, в трудную чешскую пору, когда мы жили на убогих деревенских окраинах, – хворосту, которым топили печи.

Хорошо ориентируясь вне города, в его пределах теряла чувство направления, плутала до отчаяния даже в знакомых местах.

Боялась высоты, многоэтажности, толпы (давки), автомобилей, эскалаторов, лифтов. Из всех видов городского транспорта пользовалась (одна, без сопровождающих) только трамваем и метро. Если не было их, шла пешком.

Была не способна к математике, чужда какой бы то ни было техники.

Ненавидела быт – за неизбежность его, за бесполезную повторяемость ежедневных забот, за то, что пожирает время, необходимое для основного. Терпеливо и отчужденно превозмогала его – всю жизнь.

Общительная, гостеприимная, охотно завязывала знакомства, менее охотно развязывала их. Обществу «правильных людей» предпочитала окружение тех, кого принято считать чужаками. Да и сама слыла чудакой.

В дружбе и во вражде была всегда пристрастна и не всегда последовательна. Заповедь «не сотвори себе кумира» нарушала постоянно.

Считалась с юностью, чтילה старость.

Обладала изысканным чувством юмора, не видела смешного в явно – или грубо – смешном.

Из двух начал, которым было подвластно ее детство – изобразительные искусства (сфера отца) и музыка (сфера матери), – восприняла музыку. Форма и колорит – достоверно осязаемое и достоверно зримое – остались ей чужды. Увлечься могла только сюжетом изображенного – так дети «смотрят картинки», – поэтому, скажем, книжная графика и, в частности, гравюра (любила Дюрера, Доре) была ближе ее духу, нежели живопись.

Ранняя увлеченность театром, отчасти объяснявшаяся влиянием ее молодого мужа, его и ее молодых друзей, осталась для нее, вместе с юностью, в России, не перешагнув ни границ зрелости, ни границ страны.

Из всех видов зрелищ предпочитала кино, причем «говорящему» – немое, за большие возможности со-творчества, со-чувствия, со-воображения, предоставлявшиеся им зрителю.

К людям труда относилась – неизменно – с глубоким уважением собрата; праздность, паразитизм, потребительство были органически противны ей, равно как расхлябанность, лень и пустозвонство.

Была человеком слова, человеком действия, человеком долга.

При всей своей скромности знала себе цену.

Как она писала?

Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову, на пустой и поджарый живот.

Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку – с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе.

Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей.

Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредоточивалась мгновенно.

Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась – острием мысли и пера.

На отдельных листах не писала – только в тетрадях, любых – от школьных до гротесковых, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шила тетради сама.

Писала простой деревянной ручкой с тонким (школьным) пером. Самопишущими ручками не пользовалась никогда.

Временами прикуривала от огонька зажигалки, делала глоток кофе. Бормотала, пробуя слова на звук. Не вскакивала, не расхаживала по комнате в поисках ускользающего – сидела за столом, как пригвожденная.

Если было вдохновение, писала основное, двигала вперед замысел, часто с быстротой поразительной; если же находилась в состоянии только сосредоточенности, делала черную работу поэзии, ища то самое слово-понятие, определение, рифму, отсекая от уже готового текста то, что считала длиннотами и приблизительностями.

Добиваясь точности, единства смысла и звучания, страницу за страницей исписывала столбцами рифм, десятками вариантов строф, обычно не вычеркивая те, что отвергала, а – подводя под ними черту, чтобы начать новые поиски.

Прежде чем взяться за работу над большой вещью, до предела конкретизировала ее замысел, строила план, от которого не давала себе отходить, чтобы вещь не увлекла ее по своему течению, превратясь в неуправляемую.

Писала очень своеобразным круглым, мелким, четким почерком, ставшим в черновиках последней трети жизни трудно читаемым из-за нарастающих сокращений: многие слова обозначаются одной лишь первой буквой; все больше рукопись становится рукописью для себя одной.

Характер почерка определился рано, еще в детстве. Вообще же, небрежность в почерке считала проявлением оскорбительного невнимания пишущего к тому, кто будет читать: к любому адресату, редактору, наборщику. Поэтому письма писала особенно разборчиво, а рукописи, отправляемые в типографию, от руки перебеливала печатными буквами.

На письма отвечала, не мешкая. Если получала письмо с утренней почтой, зачастую набрасывала черновик ответа тут же, в тетради, как бы включая его в творческий поток этого дня. К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям.

Иногда возвращалась к тетрадям и в течение дня. Ночами работала над ними только в молодости.

Работе умела подчинять любые обстоятельства, настаивая: любые.

Талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее равен поэтическому дару.

Закрыв тетрадь, открывала дверь своей комнаты – всем заботам и тяготам дня.

Ее семья

Марина Ивановна Цветаева родилась в семье, являвшей собой некий союз одиночеств. Отец, Иван Владимирович Цветаев, великий и бескорыстный труженик и просветитель, создатель первого в дореволюционной России Государственного музея изобразительных искусств, ставшего ныне культурным центром мирового значения, рано потерял горячо любимую и прелестную жену – Варвару Дмитриевну Иловойскую, которая умерла, подарив мужу сына. Вторым браком Иван Владимирович женился на юной Марии Александровне Мейн, долженствовавшей заменить мать его старшей дочери Валерии и маленькому Андрею, – женился, не угасив любви к умершей, привлеченный и внешним с ней сходством Марии Александровны, и ее душевными качествами – благородством, самоотверженностью, серьезностью не по летам.

Однако Мария Александровна оказалась слишком собой, чтобы служить заменой, сходство же черт (высокий лоб, карие глаза, темные волнистые волосы, нос с горбинкой, красивый изгиб губ) лишь подчеркивало разницу в характерах: вторая жена не обладала ни грацией, ни мягким обаянием первой; эти женственные качества не так-то часто сосуществуют с мужской силой личности и твердостью характера, отличавшими Марию Александровну. К тому же сама она росла без матери; воспитавшая ее гувернантка-швейцарка, женщина большого сердца, но неумная, сумела внушить ей лишь «строгие правила» без оттенков и полутонов. Все остальное Мария Александровна внушила себе сама.

Замуж за Ивана Владимировича она вышла, любя другого, брак с которым был невозможен, вышла, чтобы, поставив крест на невозможном, обрести цель и смысл жизни в повседневном, будничном служении человеку, которого она безмерно уважала, и двум его осиротевшим детям.

В доме, бывшем приданым Варвары Дмитриевны и еще не остывшем от ее присутствия, молодая хозяйка завела свои собственные порядки, рожденные не опытом, которого у нее не было, а одной лишь внутренней убежденностью в их необходимости, порядки, прошедшиеся не по нраву ни челяди, ни родственникам первой жены, ни, главное, девятилетней падчерице.



С сестрой Анастасией. 1911 г.

Валерия невзлюбила Марию Александровну с детских лет и навсегда, и если впоследствии разумом что-то и поняла в ней, то сердцем ничего не приняла и не простила: главным же образом – чужеродности самой природы ее собственной своей природе, самой ее человеческой сущности – собственной своей; этого необычайного сплава мятежности и самодис-

циплины, одержимости и сдержанности, деспотизма и вольнолюбивости, этой безмерной требовательности к себе и к другим и столь несхожего с атмосферой дружелюбной праздничности, царившей в семье при Варваре Дмитриевне, духа аскетизма, насаждавшегося мачехой. Всего этого было через край, все это било через край, не уместаясь в общепринятых тогда рамках. Может быть, не приняла Валерия и сумрачной неженской мощи таланта Марии Александровны, выдающейся пианистки, пришедшего на смену легкому, соловьиному, певческому дару Варвары Дмитриевны.

Так или иначе, несовместимость их характеров привела к тому, что Валерию по решению семейного совета, возглавлявшегося ее дедом, историком Иловайским, поместили в Екатерининский институт «для благородных девиц», среди которых она обрела многочисленных наперсниц; Андрей же воспитывался дома; он с Марией Александровной ладил, хотя настоящей душевной близости между ними так и не возникло: он в этой близости не нуждался, Мария Александровна на ней не настаивала.

Любимый в семье, красивый, одаренный, в меру общительный, Андрей, вместе с тем, рос (и вырос) замкнутым и обособленным – на всю жизнь, так до конца не открывшись ни людям, ни самой жизни и не проявив себя в ней в полную меру своих способностей.

Из двух дочерей от второго брака Ивана Владимировича наиболее для родителей легкой оказалась (или показалась) младшая, Анастасия; в детстве она была проще, податливее, ласковее Марины и младшестью своей и незащищенностью была ближе матери, отдыхавшей с ней душою: Асю можно было просто любить. В старшей же, Марине, Мария Александровна слишком рано распознала себя, свое: свой романтизм, свою скрытую страстность, свои недостатки – спутники таланта, свои вершины и бездны – плюс собственные Маринины! – и старалась укрощать и выравнивать их. Конечно же, и это было материнской любовью, и, может быть, в превосходной степени, но в то же время это была борьба с самой собой, уже состоявшейся, в ребенке, еще не определившемся, борьба с будущим – столь безнадежная! – во имя самого будущего... Борясь с Мариной, мать боролась за нее, – втайне гордясь тем, что не может одержать победу!

Причин тому, что дочери Марии Александровны не дружили в детстве, а сблизились сравнительно поздно, уже подростками, было несколько: они заключались и в детской ревности Марины к Асе (которой материнская нежность и снисходительность доставались так легко!), и в Марининой тяге к обществу старших, с которыми она могла померяться умом, и к обществу взрослых, у которых она могла им обогатиться, и в ее стремлении к главенству – над равными, если не над сильнейшими, но отнюдь не над более слабыми, и в том, наконец, что ей, ребенку раннего и самобытного развития, попросту была неинтересна младенческая Асина несамостоятельность. Лишь перегнав самое себя во внутреннем росте, перемахнув через двухгодичную разницу в возрасте (равноценно взрослому двадцатилетию!) – стала Ася Марининым другом отроческих и юных лет. Ранняя смерть матери еще более объединила их, осиротевших.

В весеннюю свою пору сестры являли определенное сходство – внешности и характера, основное же отличие выразилось в том, что Маринина разносторонность обрела – рано и навсегда – единое и глубокое русло целенаправленного таланта, Асины же дарования и стремления растекались по многим руслам, и духовная жажда ее утолялась из многих источников. В дальнейшем жизненные пути их разошлись.

Искренне любившая отца, Валерия вначале относилась к его младшим дочерям, своим сводным сестрам, с равной благожелательностью; приезжая на каникулы из института и потом, по окончании его, она старалась баловать обеих, «нейтрализовать» строгость и взыскательность Марии Александровны, от которой оставалась независимой, пользуясь в семье полной самостоятельностью, как и ее брат Андрей. На отношение Валерии Ася отвечала со всей непосредственностью, горячее к ней привязанностью; Марина же учуяла в нем

подвох: не отвергая Валериных поблажек, пользуясь ее тайным покровительством, она тем самым как бы изменяла матери, ее линии, ее стержню, изменяла самой себе, сбиваясь с трудного пути подчинения долгу на легкую тропу соблазнов— карамелек и чтения книг из Валериной библиотеки.

В Маринином восприятии сочувствие старшей сестры оборачивалось лукавством, служило Валерии оружием против мачехи, расшатывало ее влияние на дочерей. С Маринино осознания бездны, пролегающей между изменой и верностью, соблазном и долгом, и начался разлад между ней и Валерией, чья кратковременная и, по-видимому, поверхностная симпатия к сестре вскоре перешла в неприязнь, а впоследствии – в неприятие (характером – личности) – в то самое непощение не только недостатков, но и качеств, на котором основывалось ее отношение к мачехе. (Валерия была человеком последовательным, разойдясь с Мариной в юности, она никогда больше не пожелала с ней встретиться, а творчеством ее заинтересовалась только тогда, когда о нем заговорили вокруг; заинтересовалась накануне своей смерти и десятилетия спустя – Марининой. С Асей, с Андреем и его семьей общалась, но – соблюдая дистанцию.)

Ивану Владимировичу все его дети были равно дороги; разногласия в семье, для счастья которой он делал (и сделал) все, что мог, глубоко огорчали его. Отношения между ним и Марией Александровной были полны взаимной доброты и уважения; Мария Александровна, помощница мужа в делах музея, понимала его одержимость в достижении много трудной цели его жизни и его отвлеченность от дел домашних; Иван Владимирович, оставаясь чуждым музыке, понимал трагическую одержимость ею своей жены, трагическую, ибо, по неписаным законам той поры, сфера деятельности женщины-пианистки, каким бы талантом она ни обладала, ограничивалась стенами собственной комнаты или гостиной. В концертные залы, где фортепьянная музыка звучала для множеств, женщина имела доступ только в качестве слушательницы. Наделенная даром глубоким и сильным, Мария Александровна была осуждена оставаться в нем замкнутой, выражать его лишь для себя одной.

Детей своих Мария Александровна растила не только на сухом хлебе долга: она открыла им глаза на никогда не изменяющее человеку, вечное чудо природы, одарила их многими радостями детства, волшебством семейных праздников, рождественских елок, дала им в руки лучшие в мире книги – те, что прочитываются впервые; возле нее было просторно уму, сердцу, воображению.

Умирая, она скорбела о том, что не увидит дочерей взрослыми; но последние слова ее, по свидетельству Марины, были: «Мне жалко только музыки и солнца».

Ее муж. Его семья

В один день с Мариной, но годом позже – 26 сентября (ст. стиля) 1893 года – родился ее муж, Сергей Яковлевич Эфрон, шестым ребенком в семье, где было девять человек детей.

Мать его, Елизавета Петровна Дурново (1855–1910), из старинного дворянского рода, единственная дочь рано вышедшего в отставку гвардейского офицера, адъютанта Николая I, и будущий муж ее, Яков Константинович Эфрон (1854–1909), слушатель Московского Технического Училища, были членами партии «Земля и Воля»; в 1879 году примкнули к группе «Черный передел». Познакомились они на сходке в Петровском-Разумовском. Красивая строгой и вдохновенной красотой черноволосая девушка, тайно приехавшая из Дворянского Соборания и одетая в бальное платье и бархатную накидку, произвела на Якова Константиновича впечатление «существа с иной планеты»; но планета оказалась у них одна – Революция.

Политические взгляды Елизаветы Петровны, которой довелось сыграть немаловажную роль в революционно-демократическом движении своего времени, сложились под влиянием П. А. Кропоткина. Благодаря ему она стала – еще в ранней юности – членом I Интернационала и твердо определила свой жизненный путь. Кропоткин гордился своей ученицей, принимал живое участие в ее судьбе. Дружбу между ними прервала лишь смерть.

Яков Константинович и Елизавета Петровна выполняли все, самые опасные и самые по-человечески трудные, задания, которые поручала им организация. Так, Якову Константиновичу, вместе с двумя его товарищами, было доверено привести в исполнение приговор Революционного комитета «Земли и Воли» над проникшим в московскую организацию агентом охраны, провокатором Рейнштейном. Он был казнен 26 февраля 1879 года. Обнаружить виновных полиции не удалось.

В июле 1880 года Елизавета Петровна была арестована при перевозке из Москвы в Петербург нелегальной литературы и станка для подпольной типографии и заключена в Петропавловскую крепость. Арест дочери был страшным ударом для ничего не подозревавшего отца, ударом и по родительским его чувствам, и по незыблемым его монархическим убеждениям. Благодаря своим обширным связям он сумел взять дочь на поруки; ей удалось бежать за границу; туда за ней последовал Яков Константинович, там они обвенчались и провели долгих семь лет. Первые их дети – Анна, Петр и Елизавета – родились в эмиграции.

По возвращении в Россию жизнь Эфронов сложилась нелегко: народовольческое движение было разгромлено, друзья – рассеяны по тюрьмам, ссылкам, чужим краям. Состоявший под гласным надзором полиции, Яков Константинович имел право на должность страхового агента – не более. Работа была безрадостной и бесперспективной, а малый оклад едва позволял содержать – кормить, одевать, учить, лечить – все прибавлявшуюся семью. Родители Елизаветы Петровны, пожилые, немощные, жили отъединенно и о нужде своих близких попросту не догадывались; дочь же о помощи не просила.

При всех повседневных трудностях, при всех неутешных горестях (трое младших детей умерли – Алеша и Таня от менингита, общий любимец семилетний Глеб – от врожденного порока сердца) семья Эфронов являла собой удивительно гармоническое содружество старших и младших; в ней не было места принуждению, окрику, наказанию; каждый, пусть самый крохотный ее член, рос и развивался свободно, подчиняясь одной лишь дисциплине – совести и любви, наипросторнейшей для личности, и вместе с тем наистрожайшей, ибо – добровольной.

Каждый в этой семье был наделен редчайшим даром – любить другого (других) так, как это нужно было другому (другим), а не самому себе; отсюда присущие и родителям, и детям самоотверженность без жертвоприношения, щедрость без оглядки, такт без равноду-

ших, отсюда способность к самоотдаче, вернее – к саморастворению в общем деле, в выполнении общего долга. Эти качества и способности свидетельствовали отнюдь не о «вегетарианстве духа»; все – большие и малые – были людьми темпераментными, страстными и тем самым – пристрастными; умея любить, умели ненавидеть, но – умели и «властвовать собою».

В конце 90-х годов Елизавета Петровна вновь возвращается к революционной деятельности. С ней вместе этим же путем пойдут и старшие дети. Яков Константинович все той же работой, все в том же страховом обществе продолжает служить опорой своему «гнезду революционеров». В часто меняющихся квартирах, снимаемых им, собираются и старые товарищи родителей, и друзья молодежи – курсистки, студенты, гимназисты; на даче в Быкове печатают прокламации, изготавливают взрывчатку, скрывают оружие.

На фотографиях тех и позднейших лет сохранился мужественный и нежный образ Елизаветы Петровны – поседевшей, усталой, но все еще несогбенной женщины, со взором, глядящим вглубь и из глубины; ранние морщины стекают вдоль уголков губ, исчерчивают высокий, узкий лоб; скромная одежда слишком свободна для исхудавшего тела; рядом с ней – ее муж; у него – не просто открытое, а как бы распахнутое лицо, защищенное лишь плотно сомкнутым небольшим ртом; светлые, очень ясные глаза, вздернутый мальчишеский нос. И – та же ранняя седина, и – те же морщины, и та же печать терпения, но отнюдь не смирения, и на этом лице.

Их окружают дети: Анна, которая будет руководить рабочими кружками и строить баррикады вместе с женой Баумана; Петр, которому, после отчаянных по смелости антиправительственных действий и дерзких побегов из неволи, будет разрешено вернуться из эмиграции лишь в канун первой мировой войны – чтобы умереть на родине; Вера, так названная в честь друга матери, пламенной Веры Засулич, – пока еще девочка с косами, чей взрослый жизненный путь так же начнется с тюрем и этапов; Елизавета («солнце семьи», как назовет ее впоследствии Марина Ивановна Цветаева) – опора и помощница старших, воспитательница младших; Сережа, которому предстоит прийти к революции самой тяжелой и самой кружной дорогой и выпрямлять ее всю свою жизнь – всей своей жизнью; Константин, который уйдет из жизни подростком и уведет за собой мать...



Марина Цветаева и Сергей Эфрон перед свадьбой. 1911 г.

Обвенчались Сережа и Марина в январе 1912 года, и короткий промежуток между встречей их и началом Первой мировой войны был единственным в их жизни периодом бестревожного счастья.

Политическая активность Елизаветы Петровны и ее детей-соратников достигла своей вершины и своего предела в революцию 1905 года. Последовавшие затем полицейские репрессии, обрушившиеся на семью, раздробили единство ее судьбы на отдельные судьбы отдельных людей. В лихорадке обысков, арестов, следственных и пересыльных тюрем, побегов, смертельной тревоги каждого за всех и всех за каждого Яков Константинович вызволяет из Бутырок Елизавету Петровну, которой угрожает каторга, вносит с помощью друзей разорительный залог и переправляет жену, больную и измученную, за границу, откуда ей не суждено вернуться. В эмиграции она лишь ненадолго переживет мужа и только на один день – последовавшего за ней в изгнание младшего сына, последнюю опору своей души.

В пору первой русской революции Сереже исполнилось всего 12 лет; непосредственного участия в ней принимать он не мог, ловя лишь отголоски событий, сознавая, что помощь его старшим, делу старших – ничтожна, и мучаясь этим. Взрослые отодвигали его в детство, которого больше не было, которое кончилось среди испытаний, постигших семью, – он же рвался к взрослости; жажда подвига и служения обуревала его, и как же неспособно было утолить ее обыкновенное учение в обыкновенной гимназии! К тому же и учение, и само существование Сережи утратили с отъездом Елизаветы Петровны и ритм и устойчивость; жить приходилось то под одним, то под другим кровом, применяясь к тревожным обстоятельствам, а не подчиняясь родному с колыбели порядку; правда, одно, показавшееся маль-

чику безмятежным, лето он провел вместе с другими членами семьи около матери, в Швейцарии, в местах, напомнивших ей молодость и первую эмиграцию.

Подростком Сережа заболел туберкулезом; болезнь и тоска по матери сжигали его; смерть ее долго скрывали от него, боясь взрыва отчаянья; узнав – он смолчал. Горе было больше слез и слов.

В годы своего отроческого и юношеского становления он, будучи, казалось бы, общительным и открытым, оставался внутренне глубоко смятенным и глубоко одиноким.

Одиночество это разомкнула только Марина.

Они встретились – семнадцатилетний и восемнадцатилетняя – 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей – красивый грустной и кроткой красотой юноша, почти мальчик (впрочем, ей он показался веселым, точнее: радостным!) – с поразительными, огромными, в пол-лица, глазами; заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, – и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она хранила всю жизнь, который чудом уцелел и по сей день...

Обвенчались Сережа и Марина в январе 1912 года, и короткий промежуток между встречей их и началом Первой мировой войны был единственным в их жизни периодом беспроблемного счастья.

В 1914 году Сережа, студент 1-го курса Московского университета, отправляется на фронт с санитарным поездом в качестве брата милосердия; он рвется в бои, но медицинские комиссии, одна за другой, находят его негодным к строевой службе по состоянию здоровья; ему удается, наконец, поступить в юнкерское училище; это играет роковую роль во всей его дальнейшей судьбе, так как под влиянием окружившей его офицерской верноподданнической среды к началу гражданской войны он оказывается втиснутым в лагерь белогвардейцев. Превратно понятые идеи товарищества, верности присяге, вскоре возникшее чувство обреченности «белого движения» и невозможности изменить именно обреченным уводят его самым скорбным, ошибочным и тернистым в мире путем, через Галлиполи и Константинополь – в Чехию и Францию, в стан живых призраков – людей без подданства и гражданства, без настоящего и будущего, с неподъемным грузом одного только прошлого за плечами...

В годы Гражданской войны связь между моими родителями порвалась почти полностью; доходили лишь недостоверные слухи с недостоверными «оказаниями», писем почти не было – вопросы в них никогда не совпадали с ответами. Если бы не это – кто знает! – судьба двух людей сложилась бы иначе. Пока, по сю сторону неведения, Марина воспевала «белое движение», ее муж, по ту сторону, развенчивал его, за пядью пядь, шаг за шагом и день за днем.

Когда выяснилось, что Сергей Яковлевич эвакуировался в Турцию вместе с остатками разбитой белой армии, Марина поручила уезжавшему за границу Эренбургу разыскать его; Эренбург нашел С. Я., уже перебравшегося в Чехию и поступившего в Пражский университет. Марина приняла решение – ехать к мужу, поскольку ему, недавнему белогвардейцу, в те годы обратный путь был заказан – и невозможен.

Помню один разговор между родителями вскоре после нашего с матерью приезда за границу:

«...И все же это было совсем не так, Мариночка», – сказал отец, с великой мукой все в тех же огромных глазах выслушав несколько стихотворений из «Лебединого стана». «Чту же – было?» – «Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не «мы», а – лучшие из нас. Остальные воевали только за то,

чтобы отнять у народа и вернуть себе отданное ему большевиками – только и всего. Были битвы за «веру, царя и отечество» и, за них же, расстрелы, виселицы и грабежи». – «Но были – и герои?» – «Были. Только вот народ их героями не признает. Разве что когда-нибудь жертвами...»

«Но как же Вы – Вы, Сереженька...» – «А вот так: представьте себе вокзал военного времени – большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею, – все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга... Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается – минутное облегчение, – слава тебе, Господи! – но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал – впрочем, вместе со многими и многими! – не в тот поезд... Что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет – рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком – по шпалам – всю жизнь...»

После этого разговора был написан Маринин «Рассвет на рельсах».

Вся дальнейшая жизнь моего отца и была обратным путем – по шпалам – в Россию, через препятствия, трудности, опасности и жертвы, которым не было числа, и вернулся он на Родину сыном ее, а не пасынком.

Из самого раннего

Раннее детство мне вспоминается не как сон, а как первая в жизни, наипростейшая явь, как сплошное открытие – сначала мира, чуть позднее – и самой себя в нем.

В истоках своих мир этот не мал и не велик, не плох и не хорош, он просто и бесспорно наличествовал, еще вне сравнений и оценок. Наличествовали в нем и два совершенно новых, младенческих глаза, во все впивавшихся и видевших все, за исключением самой девочки, которой они принадлежали. Сама же девочка, как бы таившаяся до поры до времени в глубине собственных зрачков, осуществилась лишь в день, когда, разглядывая, в который раз, ту, другую – в зеркале, вдруг отождествила свое живое «я» с условностью отражения. Отражение было не из приятных: белоголовое, насупленное, одетое в вельветовое полосатое платьице, обутое в башмаки с пуговками, оно строило рожи, топало ногой, высовывало язык и вполне заслуживало, чтобы его поставили в угол. Стояло, топало и высовывало до той поры, пока подлинник, внезапно пронзенный догадкой, не слился, в сознании своем, с копией. Тогда притихшее и несколько заискивающее «я» подошло к изображению, погладило его, с дружеским нажимом, как пуделя Джека, и прошептало – «Милая!».

Но это случилось впоследствии, а до этого был мир и ведавшая им и распоряжавшаяся мама, которую звали Марина. Мир всецело зависел от нее, по ее воле детский день сменялся ночью, возникали из шкафа и исчезали в нем игрушки, вызываемая ими сдержанная скука («играть» я не умела, а ломать – не разрешалось) – уступала место восторгу обещанной прогулки с Мариной – почти со всем восторгом, если бы не все эти, маленьким ненавистные, капоры, башлыки, гамашки, калоши, варежки, теплые штаны, застежки, пряжки, крючки, пуговицы, пуговицы без конца! По воле Марины мир ограничивался стенами детской или становился улицей, из зимы превращался в лето, распахивал и закрывал окна и двери, останавливался как вкопанный или благодаря извозчику, реже – поезду, преображался в движение, чтобы, утомившись, вдруг назваться «дачей» или «Коктебелем». Назваться. Ибо именно по Мариной воле все видимое начало обозначаться словами и тем самым материализоваться, определяться, обретать форму, цвет и смысл. Невидимое, отвлеченное также началось со слов – с трех китов человеческого бытия; «Нельзя», «Нужно», «Можно», – причем первое из них, повторявшееся чаще, усвоилось прежде двух остальных.

Марино влияние на меня, маленькую, было огромно, никем и ничем не перебиваемое и – всегда в зените. Между тем времени со мной она проводила не так уж много, гуляла не так уж часто, ни в чем не потакала, не баловала; всем этим в той или иной мере занимались няни, не оставившие в памяти надежного следа, может быть оттого, что, не приживаясь к дому, часто сменялись.

С одной из них пришлось расстаться потому, что вместо скверика на Собачьей площадке она неукоснительно уводила меня в Николо-Песковскую церковь – выстаивать панихиды и прикладываться к покойникам. «А что тут такого, барыня, – говорила она разгневанной Марине, неторопливо собирая пожитки: – Ангельская-то молитва скорее до господина проникает, значит, у гроба и младенец при деле, не то что на этих ваших – тьфу! грех вымолвить! – площадках собачьих!»

Вторую уволили за то, что оказалась нечиста на руку, да и на язык: вместо «медведь» и «пantalоны», например, произносила, – а вслед за ней и я, – «ведьмедь» и «полтолоны»; третья и последующие уходили, кажется, сами.

Ни одна из этих, или иных, перемежавшихся теней не заслоняла от меня Марину, постоянно как бы просвечивавшую сквозь всех и вся; к ней и за ней я постоянно тянулась, подобно подсолнечнику, и ее присутствие постоянно ощущала внутри себя, подобно голосу

совести, – столь велика была излучавшаяся ею убеждающая, требовательная, подчиняющая сила. Сила любви.

В ребенке, которым я была, Марина стремилась развивать с колыбели присущие ей самой качества: способность преодолевать трудное и – самостоятельность мыслей и действий. Рассказывала и объясняла не по поверхности, а чаще всего – глубже детского понимания, чтобы младший своим умом доходил до заданного, а может быть, это заданное и опережал; приучала излагать – связно и внятно – увиденное, услышанное, пережитое – или придуманное. Никогда не опускалась до уровня ребенка, а неустанно как бы приподнимая его, чтобы встретиться с ним на той крайней точке, на которой сходятся взрослая мудрость с детской первозданностью, личность взрослого с личностью маленького.

Наградой за хорошее поведение, за что-то выполненное и преодоленное были не сладости и подарки, а прочитанная вслух сказка, совместная прогулка или приглашение «погостить» в ее комнате. Забегать туда «просто так» не разрешалось. В многоугольную, как бы граненую, комнату эту, с волшебной елизаветинской люстрой под потолком, с волчьей – немного пугающей, но манящей – шкурой у низкого дивана, я входила с холодком робости и радости в груди... Как запомнился быстрый материнский наклон мне навстречу, ее лицо возле моего, запах «Корсиканского жасмина», шелковый шорох платья и то, как сама она, по не утраченной еще детской привычке, ладно и быстро устраивалась со мной на полу – реже в кресле или на диване, – поджав или скрестив длинные ноги! И наши разговоры, и ее чтение вслух – сказок, баллад Лермонтова, Жуковского... Я быстро вытверживала их наизусть и, кажется, понимала; правда, лет до шести, произнося «не гнутся высокие мачты, на них флюгеране шумят», думала, что флюгеране – это такой беспокойный народец, снующий среди парусов и преданный императору; таинственной прелести балладе это не убавляло.



Певица Анастасия Вяльцева.

Помню, как однажды, послушав пластинки Вари Паниной и Вяльцевой – низкие, печальные, удалые голоса! – Марина рассказала мне, еще не совсем четырехлетней, о последнем концерте одной из них...

Марина позволяла посидеть и за ее письменным столом, втиснутым в простенок у маленького углового окна, за которым всегда ворковали голуби, порисовать ее карандашами и иногда даже в ее тетрадке, почтительно полюбоваться портретами Сары Бернар и Марии Башкирцевой, потрогать пресс-папье – «Нюрнбергскую деву», страшную чугунную фигурку с шипами внутри, привезенную когда-то дедом из Германии, и чугунного же «царя

Алексея Михайловича»; скрепку для бумаг в виде двух ладоней – пальцы были совсем как настоящие и цепко держали записи и счета; лаковую карандашницу с портретом юного генерала 1812 года Тучкова IV; глиняную, посеребренную птицу Сирина.

Из пузатого секретера доставалась большая книга в красном переплете – сказки Перро с иллюстрациями Доре, принадлежавшая еще Мариной матери, когда она была «такой же маленькой, как ты». Я рассматривала картинки, осторожно, только что вымытыми руками, переворачивая страницы с верхнего правого угла; ничто так не возмущало Марину, как небрежное, неуважительное отношение к книгам; когда я нечаянно разбила одну из двух ее любимых чашек старинного фарфора, – к счастью, не ту, что с Наполеоном, а ту, что с Жозефиной, и, заливаясь слезами, кричала: «Я разбила его жену! теперь он овдовел!» – меня не только не ругали, но еще и утешали, а вот за какого-то «Степку-Рас-трепку», разорванного, потому что он был противный, всклокоченный урод, «такой же, как ты, когда не хочешь мыться и причесываться», пришлось-таки постоять в углу, мрачно колу-пая известку... Можно было смотреть картинки и в однотомнике Гоголя (приложение к журналу «Нива»). Там все было нарисовано подробно, мелко и еще не очень мне доступно. Как кочевник, воспевающий во всех подробностях возникающий перед ним пейзаж, так и я, на свой лад и нараспев, комментировала иллюстрации: «А вот лошадка едет... а вот господин разговаривает с дамой... А вот барышня просит у кухарки жареных обезьян...» «Барышней» была восставшая из гроба панночка, «кухаркой» – Хома Брут, а «жареными обезьянами» – снующая во всех направлениях нечистая сила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.